



Имя Василия Васильевича Розанова (1856—1919) в конце XIX и начале XX века было широко известно русской читающей публике. Он писал по вопросам школы, семьи и брака, на темы культуры и истории, философии государства, церкви, великим, на литературные темы, темы искусства, театра и др. Почти каждый третий день в течение тридцати лет с его подписью выходили статьи, заметки, сообщения, рецензии, ответ читателю.

Правда, его имя чаще всего связывается с участием в газете «Новое время», репутация которой среди русской интеллигенции была неважной, но отомещивался Розанова с «Новым временем» будет, конечно, ошибкой. Решить вопрос о его месте в русской культуре непросто. Отсюда начинается полемика о личности писателя, о его творчестве (которое имеет анализ и изучение), политической позиции и плодотворности его духовного потенциала.

Он умер под Москвой в начале голодного 1919 года, когда шла гражданская война. Подвзяти черту под его жизнью и деятельностью было некому. Н. В. Розанова, дочь писателя, после его смерти обращалась к современникам с просьбой поделиться воспоминаниями. Максим Горький отвечал ей: «Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. гениальным человеком, замечательным мыслителем, в мыслях его много совершенно чудного, а порою — даже враждебного моей душе, и с этим вместе — он любивший писатель мой».

Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных, — на что я сейчас никак не способен.

Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас — решительно отказываюсь» («Монумент» — 1976, М., 1978, С. 323).

К сожалению, Горький не исполнил своего обещания, иначе мы могли бы решить «проблему Розанова» раньше и с большим успехом. Но возвращение к этому сложному русскому писателю стоит на повестке дня. О том пишут сегодня Д. Лихачев, С. Аверинцев, Олег Михайлов, Андрей Вознесенский, Юрий Нагибин и другие.

Книги В. В. Розанова «Уединенное», «Смертные», «Опавшие листья», неопубликованные «Мимолетное», «Сахарная долина» занять свое место в истории русской литературы.

Ждет публикации и сборник критических статей, не осуществленных при жизни писателя. Публикуемая ниже статья первоначально была напечатана в столетнюю А. Пушкина в «Новом времени» (26 мая 1899 г.).

Виктор СУКАЧ

В. В. РОЗАНОВ

А. С. Пушкин

Удивителен рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10—15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века. Но, несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но, очевидно, вся литература, в целом своем, стала столь ценным явлением, ее плоды так ярки и непрекращаемы, что недостаток отдельных ярких токов уже не ослабляет общей световой силы ее и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского: теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдем мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя, нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и круговая память, чем память творца слова. Кажется, еще немного и литература станет у нас каким-то ipso facto, священной сагою, какие распевавши в древней Греции: так много любви около нее и на

ней почilo и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории: есть место, где она собрана вся, куда она вся внимает, это — русское слово. Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святыни. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так называемой искренности. Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас столько силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточного для бессмертия? Нет, до очевидности нет у нас начинаются споры, начинается внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мертвыми, и мы делаем через 2000 лет и то же: с великой беспощадностью мы перетраживаем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалась

бы, литературно безразличной вещи, как его чистосердечии. Что же это значит? что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать... святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о пронизательности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх, замечает или заподозривает: «Да,—но все это было вранье». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что оно содержит в себе, в сущности, никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос о писателе, и, пока он не решен, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно воспоминаемые рождения. Сегодня — первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим — «первый», потому что не думаем, чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежавший день «26-го мая» не было вспомянуто имя Пушкина.

Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно: так много было сказано 6-го и 7-го июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остается сказать теперь? Увы, все золото мысли и слов исчерпано, и приходится или вновь повторять несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на оригинальность и новизну. Так и поступим.

Пушкин — национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Колыцов? Почему же мы усиленно придем это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Колыцова? Он не был только русским по духу, как Колыцов, но русскому духу он воздал ли свободу и дал ему всевозможную литературу, положение, чего не мог дать Колыцов и по условиям образования своего, и по размеру сил. Можно быть свободным и независимым — по не образованности; можно сохранить полную оригинальность творчества, не имея перед собою образцов или чужах образцов, зажимывая перед ними глаза. Этою мудростью страуса, прячущего перед охотником голову под крыло, грешили и грешат многие из нас, иногда грешили славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали ее, избегая соблазнительного заражения. Отец-дядя Европа с Петербургом, Ив. Аксаков говаривал: «Нужно стать к Петербургу спиной». Ну, и прекрасно,—для Европы и Петербурга; но что же специально для русского? Приоткрыл, просмотри: а что касается до сил,—то и яркое признание их незначительности. Вот почему было много «руссизма» в славянофилах, но никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным национальным явлением. Пушкин не только сам возвысился до национальности, но и всю русскую литературу вернул к национальности, потому что он начал с молитвы Европе, потому что он каждый темп этой молитвы выдержал так долго и чистосердечно, как был в силах: и все-таки на конце этой длинной и усердной молитвы мы видим обыкновенного русского человека, типичного русского человека. В нем, в его судьбе, в его биографии совершилось нечто явление природы: так оно естественно текло, так чудно было преднамеренности. Парни, Андре Шенье, Шатобриан; одновременно с Парни для сердца — Вольтер для ума; затем Байрон и, наконец, Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливаться снять. Все сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами. Биография его удивительно цельна: никаких чрезвычайных переделов в развитии мы в нем не наблюдаем. Скорее он походит на удивительный луг, засеянный разными семенами и разновременного всхода, которые, поднимаясь, дают в одном месяце сочетание цветов и такой же общий рисунок; в следующий месяц — другой и т. д.; или, пожалуй,—на старинном дереве, которое до сих пор до настоящего времени изменяют свой цвет, и чем далее, чем позднее, тем становится прекраснее. Да в стихотворении

Художник-варвар кистью сонной — он так и определил себя. Тут только не верно слово «варвар»: напротив, душу Пушкина чертили великие гении и его создания, его «молитвы» перед ними сохраняют и до сих пор удивительную красоту и всю цену настоящих художественных творений. Без этого Пушкин не был бы Пушкиным и вовсе не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности. Посмотрите, как он припоминает эти чуждые на себе краски, уже свободный от них, когда уже спала с него их «ветхая чешуя». Как глубоко сознательно он относится к богам когда-то любимца своего, коего «Генрияду» он предпочитал всем сладким вымыслам:

...цицик поседелый,
Умов и моды вождь
пронирливый и смелый.
Свое владычество на Севере
любя —

Могильным голосом
приветствовала тебя.
С тобой веселости
он рстачал избыток,
Ты леств его окучил,
земных богов напиток.

Какая точность! Какое понимание человека и писателя! Кто нового прибавил к этим шести строкам в своей блестящей характеристике Вольтера Карлейль? Ничего, ни одной черты, которая не была бы здесь вписана. Но человека можно понимать только в обстановке:

...увидел ты Версаль;
Пророчески очей не простирая вдали,
Там ликовало все... Армия молодая,
К велью.

роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветренным двором окружена.
Как многое достигнуто одною заменой имени Марии-Антуанетты греческим: «Армада». Гениально поставленное слово-воскешает в вас разом «Сади» Де-Линя, весь ложный классицизм, полусмененный пасторалью, когда придворные дамы, читая Феокрита, неудержимо разводили своих коров и навевали лучшие сны юному еще Жан-Жак.

Ты поймешь Трианон
и шумные забавы?
Но ты не изнемож
от сладкой их отравы;
Ученые делались на время твои кумиры,
Уединялись ты. За твой суровый пир
То читатель промисла, то скептик,
то безбожник.

Садился Дидерот
на шаткий свой треножник.
Бросал парик,
глаза в восторге закрывая
И проповедал. И скромно ты вынимал
За чашей медленной адею иль биссу.

Как любопытный скиф
афинскому софисту.
Тут опять мы припомним «Путешествия молодого Анахарсиса», которым на Западе и у нас зачитывались в XVIII веке. Заменяю «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской страницей вдруг сообщается колорит времен Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое, и с помощью самых незаметных средств: он поставит, например) неупотребительное уже в его время «афеи», и точно вы находите в книге того, как и никакого следа борьбы с побежденным гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединившейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных гениев.

Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нем и его памятник поднимается

...выше Наполеонова столпа,— не есть превеличание; и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа: в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую высоту чувства и созерцания, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овладело Гумбольдтом, когда он взобрался на высшую точку Кордильер: «Смотря на прибой волн Восточного океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подумал: никто не был выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной висел кондор» («Космос»).

Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Колыцов — в одном определенном отношении, хотя в другом отношении этот прасец духа стоял у подношья Кордильер. Как он заплакал о Пушкине в «Алесе» — этим простым слезам

...дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да брат мой от меня
не примет осуждения,
И дух смиренная, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоит сын и отец в «Скупом рыцаре», входящий к Альберту еврей есть контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

Из-под мантилы
знак условный подавать;
Скажи,
как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыпан
надзор уермой сетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник
под окном
Трепет и кипит, окутанный плащом.

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гениевского стихотворения «Исповедь испанской королевы»:

Искони твердят испанцы:
«В кастаньеты громко брякает,
Под ножом вести интригу
Да на исповеди плакать —
Три блаженства только на свете».

Пушкин продолжает,— и какая, без перемены стихосложения, перемена тона: Все изменилось. Ты видел вихорь бури. Падение всего, союз ума и фирий, Свободой грозною возмущенный закон. Под сальютною Версаль и Трианон И мрачным ужасом смененные забавы. Преобразился мир

при громах новой славы.
Давно Феррей умок.
Приятель твой Вольтер,
Разительный пример,
Не успокоившись
и в гробовом жилище,
Доныне странствует
с кладбища на кладбище.

Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни,
Дидерот,
Энциклопедист скептический причес,
И колкий Бомарше
и твой безносый Касти,
Все, все уже прошло.

Их именья, толки, страсти
Забыты для друзей.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истеря.
Свидетельств быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоким опытом сбывая поздний плод,
Они торопятся

с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.
Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона

развелье едва их мог.
Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, улититься и, упиавшись, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшебное владеть стихом? Ну, были годы развития, сладостная молитва перед этим именем и осторожная от них отчужденность, основанная на точнейшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь
пронирливый и смелый...
и с ним в плаще широко,
Под черным куколем,
Собственной старостью беседовал монах.
Старик доказывал
страдальцу молодому,
Что здесь и там
одна бессмертная душа
И что подлунный мир
не стоит ни гроша.
С ним бедный Кляшди
печально соглашался,
А в сердце милою
Джульеттой занимался.
(АНДЖЕЛО)

Какая правда, и вместе какое безмерное любовное юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равной красотою, но не с большим правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упреждением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустышники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь
должных бурь и битв.

Сложился множество
божественных молитв:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священный поэт
Во дни печальных великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падишего свежит невеждою сияет:
«Владыко дней моих!»

дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да брат мой от меня
не примет осуждения,
И дух смиренная, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоит сын и отец в «Скупом рыцаре», входящий к Альберту еврей есть контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

Их именья, толки, страсти
Забыты для друзей.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истеря.
Свидетельств быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоким опытом сбывая поздний плод,
Они торопятся

с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.
Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона

развелье едва их мог.
Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, улититься и, упиавшись, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшебное владеть стихом? Ну, были годы развития, сладостная молитва перед этим именем и осторожная от них отчужденность, основанная на точнейшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь
пронирливый и смелый...
и с ним в плаще широко,
Под черным куколем,
Собственной старостью беседовал монах.
Старик доказывал
страдальцу молодому,
Что здесь и там
одна бессмертная душа
И что подлунный мир
не стоит ни гроша.
С ним бедный Кляшди
печально соглашался,
А в сердце милою
Джульеттой занимался.
(АНДЖЕЛО)

Какая правда, и вместе какое безмерное любовное юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равной красотою, но не с большим правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упреждением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустышники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь
должных бурь и битв.

Сложился множество
божественных молитв:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священный поэт
Во дни печальных великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падишего свежит невеждою сияет:
«Владыко дней моих!»

дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да брат мой от меня
не примет осуждения,
И дух смиренная, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоит сын и отец в «Скупом рыцаре», входящий к Альберту еврей есть контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

Их именья, толки, страсти
Забыты для друзей.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истеря.
Свидетельств быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоким опытом сбывая поздний плод,
Они торопятся

с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.
Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона

развелье едва их мог.
Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, улититься и, упиавшись, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшебное владеть стихом? Ну, были годы развития, сладостная молитва перед этим именем и осторожная от них отчужденность, основанная на точнейшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь
пронирливый и смелый...
и с ним в плаще широко,
Под черным куколем,
Собственной старостью беседовал монах.
Старик доказывал
страдальцу молодому,
Что здесь и там
одна бессмертная душа
И что подлунный мир
не стоит ни гроша.
С ним бедный Кляшди
печально соглашался,
А в сердце милою
Джульеттой занимался.
(АНДЖЕЛО)

Какая правда, и вместе какое безмерное любовное юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равной красотою, но не с большим правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упреждением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустышники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь
должных бурь и битв.

Сложился множество
божественных молитв:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священный поэт
Во дни печальных великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падишего свежит невеждою сияет:
«Владыко дней моих!»

дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да брат мой от меня
не примет осуждения,
И дух смиренная, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоит сын и отец в «Скупом рыцаре», входящий к Альберту еврей есть контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

Их именья, толки, страсти
Забыты для друзей.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истеря.
Свидетельств быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоким опытом сбывая поздний плод,
Они торопятся

с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.
Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона

развелье едва их мог.

На урну Байрона взирает
И хор европейский лир
Близ Данте тень его вымает.

До чего тут меньше любви! Есть великопение широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменою... Пушкин был универсален. Это все замечают в нем, заметил еще Белинский, заметил даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на нее мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и, может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательнее на земле для ее юдоли, но это забвение — гениальное. Он все восходил в своем развитии; сколько «куколок», умерших трупишков оставил его великодушный полет: это смертные остатки, сброшенные им с себя, внашут грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? Что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже:

Ты — Царь. Живи один...
Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полет, взор, наконец, отворачивать от него — потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданиям. Не та ли темная пустота раскрывается перед этим восходящим полетом, которая делает гениальных людей безотчетно сумрачными и, убега от которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивая друг друга, хранить одно у другого память; и отсюда вытекли если не самые великодушные, то самые милые людские сказочки и песенки. И присутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабыми на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженой, но в суженности-то и могучей чуж, как нет осязаемо — постоянной меры всем вещам, если не назвать его вообще правду, вообще прелесть: но это — качество, а не имя предмета, как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «превельствие», «очарователь», владыка и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и непреодолимого даже завершения восхождения, основанная на точнейшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь
пронирливый и смелый...
и с ним в плаще широко,
Под черным куколем,
Собственной старостью беседовал монах.
Старик доказывал
страдальцу молодому,
Что здесь и там
одна бессмертная душа
И что подлунный мир
не стоит ни гроша.
С ним бедный Кляшди
печально соглашался,
А в сердце милою
Джульеттой занимался.
(АНДЖЕЛО)

Какая правда, и вместе какое безмерное любовное юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равной красотою, но не с большим правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упреждением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустышники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь
должных бурь и битв.

Сложился множество
божественных молитв:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священный поэт
Во дни печальных великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падишего свежит невеждою сияет:
«Владыко дней моих!»

дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да брат мой от меня
не примет осуждения,
И дух смиренная, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоит сын и отец в «Скупом рыцаре», входящий к Альберту еврей есть контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

Их именья, толки, страсти
Забыты для друзей.
Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истеря.
Свидетельств быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоким опытом сбывая поздний плод,
Они торопятся

с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.
Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона

развелье едва их мог.
Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, улититься и, упиавшись, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшебное владеть стихом? Ну, были годы развития, сладостная молитва перед этим именем и осторожная от них отчужденность, основанная на точнейшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь
пронирливый и смелый...
и с ним в плаще широко,
Под черным куколем,
Собственной старостью беседовал монах.
Старик доказывал
страдальцу молодому,
Что здесь и там
одна бессмертная душа
И что подлунный мир
не стоит ни гроша.
С ним бедный Кляшди
печально соглашался,
А в сердце милою
Джульеттой занимался.
(АНДЖЕЛО)

Какая правда, и вместе какое безмерное любовное юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равной красотою, но не с большим правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упреждением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустышники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь
должных бурь и битв.

Сложился множество
божественных молитв:
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священный поэт
Во дни печальных великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падишего свежит невеждою сияет:
«Владыко дней моих!»

дух праздности унылой,
Любоначалы, змек скоротый сей,
И празднослова не дай душе моей;
Но дай мне зреть мою, о Боже,

Да